

# Борис Акунин

## Мир и война

### Том первый

#### Мир

#### Глава I

#### Смерть на миру

Июня 13 дня мокрым серым утром случилось страшное.

Деревенские всем миром собрались на берегу разбухшей от двухнедельных дождей Саввы помолиться о ведре. Стояли с непокрытыми головами, многие на коленях, у мужиков ко лбам прилипли волосы, у баб потемнели волглые платки, отец Мирокль то и дело стряхивал рукавом с бороды капли. И вот взывает он к пастве своим дишкантом «Посли хлеб твой на лице воды!», взманивает рукою на речку, все обращают туда взоры — а на темной, пузырястой глади колышется нечто пунцовое.

Тишка Косой, который был к берегу ближе всех, первый углядел — красный ситец. И полез доставать. Зачем хорошей вещи зря мимо плыть? Но Катина этого еще не видела, потому что находилась подле попа с приличествующим okazji

просветлением на лице и присомкнутыми очами. В действительность климатических молитв Полина Афанасьевна не верила, но знала, что они полезны для народного умонастроения, за тем и присутствовала, являя собою единение с обществом. Она готовилась пребывать в сей скучной позиции еще долго, но когда услышала крики и движение, сразу открыла когда-то лазоревые, а с годами выцветшие до бледной голубизны глаза. Вслушалась, вгляделась, вникла.

Крики были: «Утопница, утопница!». Движение же в толпе образовалось двоякое: одни кинулись к реке — поглазеть, другие шарахнулись от жути подальше, и первых было много больше, чем вторых.

— Извольте, матушка, вот вам иллюстрация к нашему давешнему спору, — вполголоса сказал помещице отец Мирокль (он был человек маловозмутимый, философ). — Любопытство в человеческой природе сильнее робости.

— Да ну вас, — махнула Катина, ибо всему ж свое время, и пошла наводить порядок.

Перед нею расступались.

Полина Афанасьевна сразу поняла: покойницу принесло течением сверху, ибо тут место мелкое, не потопнешь. Платье зацепилось за мостки.

Экая докука! Плыла бы себе дальше, к соседям. Люди из-за долгих дождей и без того

кислые, а от такого поганого знамения вовсе заунываются.

— Что встали? — Помещица сердито повернулась к мужикам. — Доставайте.

Только оказалось, ошиблась она. То была не докука, то была беда.

Мертвица, когда ее перевернули, оказалась своя, вымираловская. Палашка Трифонова. Хорошая, ясная девка, совсем молодая, шестнадцати что ли лет. Лучшая во всем селе грибница-ягодница, всегда из лесу приходит с полными лукошками. Катина думала ее через годик, когда соком нальется, за кузнецкого сына выдать.

Эх, горе какое, запечалилась Полина Афанасьевна. Не бродить соку в сем бедном теле, питать ему червей подземных. Как же это она, глупенькая, угораздилась?

Тут, понятно, завопили бабы. Палашкин отец, Трифон Михайлов, протиснулся, растерянно забормотал, вертя головой влево и вправо — только бы не смотреть вниз:

— Не ночевала... Думали, к тетке Матрене в Аксиньино пошла, а оно вона что...

Матери, Лукерья Трифоновой, на берегу не было, она на молебен не пришла, дома лежала хвора. Но за ней уже побежали, конечно. Приведут. Лукерья и так-то заполошная, а тут вовсе

исступится. Подхватят другие, развоются, раскликушествоуются, и начнется Вавилон, соображала Катина.

— Что глазеее? — прикрикнула она на баб. — Подите, подите!

Мужикам велела:

— Поднимайте, в избу несите. Нечего ей, бедной, в жиге валяться.

Крестьяне подняли тело из воды, шаг-другой сделали, да и уронили на землю, а сами отскочили.

Будучи поднятой, покойница провисла на руках, заколыхалась, словно была из теста иль студня.

— У ней кости все давленные! — завопил кто-то.

И понеслось:

— Лешак! Лешак! Палашку в лесу Лешак раздавил!

Пусто стало вокруг. Подле трупа осталась одна Полина Афанасьевна.

Стало быть, и до нас добралось, подумала она. Значит, не докука это и не беда, а много хуже: злосчастье. Не Вавилон будет, а Содом с Гоморрой.

Из реки Саввы, медленно текущей через густые звенигородские леса, через аржаные-овсяные поля, через травяные луга, уже вынимали девок со сплошь переломанными костями. Когда такое случилось впервые, прошлым

летом, люди подивились столь диковинной смерти. Родные поплакали, да схоронили упокойницу на церковном кладбище, и ничего такого не подумали — на всё воля Божья. Но после второй утопленницы о Боге уж не говорили, только о Лешаке.

Это сказка такая, ее бабы детишкам по всей округе рассказывают, чтоб одни в лес не ходили. Будто живет в чаще, по кустам-оврагам лесной бес, весь в медвежьей шерсти. Кто с ним встретится — пропал. Обхватит Лешак своими лапищами, сожмет до костяного хруста, прильнет к устам и высосет живой дух, которым питает свое лешачье естество. Переломанное бездыханное тело кинет в болото, иль в озеро, иль в речку.

Слушая, как сельчане поминают Лешака и бабы подвывают от ужаса, а некоторые и визжат, Полина Афанасьевна подосадовала, что прежде мало заботилась этими вздорами и даже толком не знала, сколько раз оно такое приключалось. Трижды, четырежды? Катина мало интересовалась тем, что происходило вне ее владений. Страшных утопленниц находили далеко — в десяти, в двадцати верстах. А тут сгубили не чужую какую-то девку, а свою Палашку, да прямо у порога! За своё и за своих вымираловская помещица стояла крепко. И сейчас ею владел не страх, а ярость. Сдавила горло, мешала дышать.

Кто бы душегубство ни произвел — Лешак ли, Дьявол ли, людь иль нелюдь — но за Палашу он заплатит, пообещала себе Катина. Землю с небом местами переверну, а сыщу.

Однако сначала нужно было успокоить курятник. Так раскудахтался, что мысль не соберешь.

Голос попа, пытавшегося увещевать паству, тонул в гаме, охах, плачах, причитаниях.

— Устыдитесь! — зывал священник. — Суеверие и самопугание приличны малым детям, но не зрелым мужам с женами! Придумываете сказки, а после сами в них верите! Сообразите сами! Какой Лешак? Кто его видывал? Воистину: «Егда хочет показнити человека, отнимает у него разум»!

Но его не слушали. Отец Мирокль у деревенских почтением не пользовался, очень уж витиеват и трудноглаголен. Иное дело староста Платон Иванович — его уважали.

Этот не кричал, рук не воздымал, а шел через скопище, ворковал по-голубиному своим жидким, ласковым тенорком (ему и прозвище было Голубь):

— Бабоньки, любезные, угомонитесь, о детках своих подумайте. Вон они, бедные, сжалися от ваших криков, ночью спать не будут. Степан, жену обними, успокой. Митрий, посмейся дочке, козу сделай — вишь, белая вся, трясется.

И где пройдет Платон Иванович, становилось

тише. Только дети пищали, а взрослые уже нет.

Уверившись, что Голубь с миром совладеет, Полина Афанасьевна о деревенских думать перестала и занялась чем следовало.

В свои 62 года была она вся седая, но мышцей упругая, в движениях спорая. Наклонилась над мертвым телом, стала его щупать, шевелить. Понадобилось — присела на корточки.

Эх, Палаша, Палаша, что ж с тобой приключилось?

Судя по изгибу тулова, позвоночный столб сломан, и, может, не в одном месте. Ноги тоже — гнутся во все стороны. Будто молотили в десять дубин. Однако синяков и ссадин нигде нет. На запястьях только кожа содрана. От грубой веревки? Но почему борозды такие широкие, будто волочил кто или со всей силы дергал? Надо будет раздеть донага и повсюду осмотреть, подумала Катина. Не здесь только, не на виду, а в тихом месте.

Подвязывая покойнице отвисшую челюсть, перекладывая на грудь замечательно густую, длинную косу, помещица заметила в волосах что-то мелкое, белое. Решила, речной камешек. Стала вынимать — оказалось, крохотная костяная пуговичка, какие бывают на рукавах.

«Ах вот как? — сказала себе Полина Афанасьевна. — Лешак, значит, у вас с манжетами ходит?». Хищно оскалила ровные зубы, с возрастом

нисколько белизны не потерявшие. Отец Мирокль про них говорил, что это наивернейший признак природной крепости, ибо *dentes sani in corpore sano*, сиречь в здоровом теле здоровые зубы. Катина и правда отроду не хворала.

Примечательную находку она положила в карман. Прошептала сама себе (была у нее такая привычка): «Кто ты, гадина, ни будь, за эту пуговичку я тебя и ухвачу. От пуговицы к рукаву, от рукава к руке, а от руки дотянусь и до горла».

Обернулась на толпу. Там опять шумели. Это прибежала из дому, с другого конца села, Лукерья, покойница мать.

— Палаша-а-а! Палашенька-а-а! Рожёная моя, рощёная! Золотко мое ненаглядное! Кровинушка!

Да прочее всякое. Бабы с девками, конечно, тут же подхватили. Но Катина им разводить вой не дала.

Распрямилась, крикнула своим замечательно звонким голосом:

— Эй, тихо там!

И стало тихо.

— Слушайте, что скажу!

Все придвинулись ближе, встали тесно.

Речь помещицы была короткой.

— Тут дело злодейское! Не Лешак нашу Палашу порешил, а лихой человек! И я буду не я, коли ирода этого не добуду и не покараю! Даю вам

в том мое катинское слово. А вы слово мое знаете.

И потом, уже вполголоса, старосте:

— Лукерья пускай повоет, но чтоб держали за руки. Не давайте ей на тело пасть. Покойницу взять плавно, в восемь рук. Положить на широкую доску, а лучше на столешницу. Снести ко мне на двор, в скобяной сарай. Трифону объясни: по закону так положено, для розыска убийцы.

Дальше совсем тихо, шепотом:

— Девку всю раздень, бережно. По бокам обложи льдом. И дозорного поставь перед дверью, чтобы никто не совался.

Платон Иванович ответил:

— Всё исполню, матушка-голубушка. А только дозорного ставить незачем, на зряшное человека от работы отнимать. К Палагее никто ни за какие калачи не заглянет. И сарайку стороной обойдут.

— Твоя правда, — согласилась Катина. — Что я учу ученого. Распорядись там как надо. А мне вели оседлать каурого. Поеду в Звенигород, к судье.

И скоро уже, четверти часа не прошло, гнала быстрой рысью под морозящим дождем по клеверному лугу, по выгону, мимо околицы большого, широко раскинувшегося села Вымиралова.

## Глава II

## Вымираловская помещица

Ныне трудно было и поверить, что тридцать лет назад селение стояло безлюдное и безвидное, будто покинутое душою тело; пустые дворы позаросли травой, пыльные окна тусклились осколками. Первый раз увидев сей позеленелый труп, Катина ощутила нечто вроде родственности. Она тоже после утраты супруга, погибшего в пугачевскую смуту, некое время чувствовала себя полой оболочкой, треснувшим сосудом, из которого вытекла содержимая влага.

В прежней, молодой и счастливой жизни, Полина Афанасьевна обитала в иных краях, на широком и высоком волжском берегу, в мужнином имении. Но простить тамошним крестьянам измены и бунта не пожелала (относилась к прощению не по-христиански), и по умирении мятежа в разоренное гнездо больше не вернулась. Деревню со всеми жителями продала, перебралась в Москву и прожила там с сироткой-сыном лет десять. Однако ж, заметив, что мальчик растет бледен и не умеет отличить вяза от ольхи, решила, что здоровее и во всех смыслах полезнее увезти маленького Ростислава подальше от городской пыли и московского общества, которое хорошему не научит. Жить надобно вне Москвы, но поблизости, чтоб не задичать в глуши.